

магнолиями, гранатами, среди которых поднимались верные пальмы, чернели кипарисы...

Я просыпался рано и, пока она спала, до чая, который мы пили часов в семь, шёл по холмам в лесные чащи. Горычае солнце было уже сильно, чисто и радостно. В лесах лазурно светился, расходился и таял душистый туман, за дальними лесистыми вершинами сияла предвечная белизна снежных гор... Назад я проходил по знойному и пахнущему из труб горящим кизяком¹ базару нашей деревни: там кипела торговля, было тесно от народа, от верховых лошадей и осликов, — по утрам съезжалось туда на базар множество разноплеменных горцев, — плавно ходили черкешенки в чёрных длинных до земли одеждах, в красных чубьяках², с закутанными во что-то чёрное головами, с быстрыми взглядами, мелькавшими порой из этой траурной закутанности.

Потом мы ушли на берег, всегда совсем пустой, купались и лежали на солнце до самого завтрака. После завтрака — всё жаренная на шкваре рыба, белое вино, орехи и фрукты — в знойном сумраке нашей хижины под черепичной крышей тянулись через сквозные ставни горячие, весёлые полосы света.

Когда жар спадал и мы открывали окно, часть моря, видная из него между кипарисов, стоявших на скате под нами, имела цвет фиалки и лежала так ровно, мирно, что, казалось, никогда не будет конца этому покою, этой красоте.

На закате часто громоздились за морем удивительные облака; они пылали так великолепно, что она порой ложилась на тахту, закрывала лицо газовым шарфом и плакала: ещё две-три недели — и опять Москва!

Ночи были теплы и непроглядны, в чёрной тьме слышались, мерцали, светили топазовым светом огненные мухи, стеклянными колокольчиками звенели древесные лягушки. Когда глаз привыкал к темноте, выступали вверх звёзды и гребни гор, над деревней вырисовывались деревья, которых мы не замечали днём. И всю ночь слышался оттуда, из духана³, глухой стук в барабан и горловой,

1 *Кизяк* — сухой навоз.

2 *Чубяки* — обувь из мягкой кожи.

3 *Духан* — небольшой трактир, ресторан.

заунывный, безнадежно-счастливыи вопль как будто всё одной и той же бесконечной песни.

Недалеко от нас, в прибрежном овраге, спускавшемся из лесу к морю, быстро прыгала по каменистому ложу мелкая, прозрачная речка. Как чудесно дробился, кипел её блеск в тот таинственный час, когда из-за гор и лесов, точно какое-то дивное существо, пристально смотрела поздняя луна!

Иногда по ночам надвигались с гор страшные тучи, шла злобная буря, в шумной гробовой черноте лесов то и дело разверзались волшебные зелёные бездны и раскальвались в небесных высотах допотопные удары грома. Тогда в лесах просыпались и мяукали орлята, ревели барс, таякали чекалки¹. Раз к нашему освещённому окну сбежалась целая стая их, — они всегда сбегаются в такие ночи к жилию, — мы открыли окно и смотрели на них сверху, а они стояли под блестящим ливнем и таякали, просились к нам... Она радостно плакала, глядя на них.

Он искал её в Геленджике, в Гаграх, в Сочи. На другой день по приезде в Сочи он купался утром в море, потом брился, надел чистое бельё, белоснежный китель, позавтракал в своей гостинице на террасе ресторана, выпил бутылку шампанского, пил кофе с шартрёзом², не спеша выкурил сигару. Возвратясь в свой номер, он лёг на диван и выстрелил себе в виски из двух револьверов.

ИСТОРИЗМ И. А. БУНИНА

Историзм Бунина отличается проникновенным вниманием к чувственной, ощущаемой, инстинктивной стороне жизни. Писатель описывает прошлое, воссоздавая атмосферу усадьбы, уединённой сельской жизни, тёмной аллеи, песен косцов, памятной сердцу комнаты. Его повествование включает чувственное ощущение времени, пространства, звука. Тут всё имеет значение: и общая атмосфера, и любая подробность. История как бы живёт в душе, и, когда настанет час, она вдруг явится в окружении

1 *Чекалка* — земляной зайчик или мышь (словарь Даля).

2 *Шартрёз* — сорт французского ликёра.